



## *Посвящается Ларри Шоу*

*Поведаю я диспозицию уличную Рима со дня основания города сего... а во второй части поведаю вам я о святости места сего наихристианнейшего. Лишь то запечатлит перо мое, что в хрониках нахожу или что собственными зрил очами.*

Джон Кэпгрейв. «Услада паломникам»

*Человек задумается, единственно если воспрепятствовать ему действовать.*

Жан-Жак Руссо

*Человек созидает, единственно если свершение действия прибавляет к его загадке.*

Джеральд Хэрд



## Предисловие ко второму изданию

Роман этот не о католицизме, но поскольку главный герой его — католический теолог, то книга неизбежно содержит ряд моментов, довольно болезненных для приверженцев католического и (в меньшей степени) англиканского вероисповедания. Читатели же, лишённые доктринальных предубеждений, вряд ли вообще обратят на эти моменты особенное внимание — не говоря уж о том, чтобы вознегодовать.

При написании романа я предполагал, что как обряды, так и вероучение римской католической церкви в течение века претерпят определенные метаморфозы, существенные и не очень. Публикация книги в Америке показала, что католики не имели бы ничего против моего Басрского Собора, против того, как я воспроизвел всю небезызвестную изящнейшую дискуссию, с пупков начиная и геолого-палеонтологическими данными заканчивая, и как разделался с тонзурой; но по двум позициям они не позволили бы мне хоть на шаг отступить от того, что можно найти в «Католиче-

ской энциклопедии» 1945 года издания. (Ни один ученый до сих пор почему-то не возмутился тем, как я разделался к 2045 году с частной теорией относительности.) И вот о каких позициях речь.

Первое. Я предположил, что к 2050 году обряд экзорцизма станет анахронизмом далекого Средневековья, и даже в духовных семинариях обучать ему будут лишь формально — настолько, что изгонять беса не придет в голову даже иезуиту; особенно в ситуации, когда экзорцизм приходит на ум в последнюю очередь, да и вообще едва ли уместен. Но даже в наше время не-католики, как правило, не верят, что церковь до сих пор практикует экзорцизм; он кажется примитивней и утрированное даже ряссы и тонзуры, чья родословная также восходит к XIII веку. Тогда же, например, было принято звонить в специальным образом освященные колокола, дабы разогнать грозовые тучи; это больше не практикуется, а потому, на мой взгляд, более чем допустимо предположить, что к 2050 году экзорцизм станет обрядом столь же рудиментарным.

Второе. Я предположил, что к 2050 году достаточно осведомленный мирянин будет вправе соборовать — как, например, в наше время крестить. Разумеется, сегодня это еще не так — и, надеюсь, мое раздражение критиками, полагающими, якобы по лености своей я считаю, будто все уже обстоит именно так, простительно. Эти любители от теологии забывают, что поначалу ни одно из таинств не могло отправляться ина-

че как священнослужителем; и тот факт, что соборование поныне пребывает в той же категории, — отнюдь не данность, а результат упорной борьбы, что ведется церковью вот уже немало веков. Аналогичная борьба, только по поводу крещения, была незамедлительно проиграна, и поражение это было неизбежно во времена, когда численность населения мала, смертность высока, а эпидемии часты — так что приходится признать драгоценность каждой души с момента появления на свет. Сегодня и (к моему величайшему опасению) завтра нашему перенаселенному неомальтузианскому миру с нашим коллективным ангелом смерти — бескрылым, безликим и с очень длинными руками — грозят жертвы столь массовые, что никакой популяции священнослужителей не отпеть всех безвременно усопших; а поскольку я все же считаю церковь учреждением, в основе своей скорее милосердным (хотя зачастую может показаться и наоборот), то предположил, что к 2050 году в вопросе о соборовании та пойдет на уступки.

Разумеется, любой вправе не согласиться с моей логикой; надеюсь только, мне не будут приводить в пример доктрину 1945 года как самодостаточную вплоть до 2050-го.

Многие из писавших мне считают, что заключению главного героя о природе Литии вовсе не обязательно полагалось быть именно таким; но мне было лестно получить несколько писем от теологов, осведомленных — очевидно, в отли-

чие от большинства моих корреспондентов — о нынешней позиции католической церкви в вопросе о множественности миров. (Как обычно, церковь как институт куда дальновидней большинства своих отдельно взятых приверженцев.) Вместо того чтобы оправдывать прорыв в моем герое манихейства — причем словами в основном его же собственными, — я позволю себе сослаться на мнение мистера Джеральда Хэрда, лучше всех подытожившего ситуацию (чего и следовало ожидать от писателя столь талантливого, да еще теологически образованного).

Если — как предполагает ныне большинство астрономов, и среди них иезуиты — существует множество планет, на которых есть разумная жизнь, «любая из таких планет (в Солнечной системе или за ее пределами) должна относиться к одной из трех категорий:

а) Планета населена существами разумными, но душой не наделенными; следовательно, обращению в истинную веру те не подлежат, но отношение к ним сочувственное.

б) Планета населена существами разумными, наделенными душой и падшими вследствие греха первородного, но не всенепременно родового; следовательно, те подлежат обращению в истинную веру, причем с чрезвычайным миссионерским милосердием.

в) Планета населена существами разумными и наделенными душой, но не ведавшими грехопадения; следовательно, те:

1) населяют безгрешный мир-рай;

2) значит, входить в контакт с ними должно не с целью пропаганды, а дабы вызнать (о чем мы можем только догадываться), как живут существа, не лишавшиеся благодати, в абсолюте наделенные всеми достоинствами, бессмертные и совершенно счастливые, ибо непрерывно сознают Божественное присутствие и сопричастность».

По-моему, нельзя не заметить (вслед за Руис-Санчесом), что Лития не относится ни к одной из этих трех категорий; отсюда и все ниже-следующее.

Автор же, хотелось бы добавить, вообще агностик и какой-то определенной позиции в данном вопросе не придерживается. Замысел его заключался в том, чтобы написать о человеке, а не о вероучении.

Джеймс Блиш. «Эрроухэд».  
*Милфорд, Пенсильвания, 1958 г.*



# КНИГА ПЕРВАЯ

## I

Каменная дверь оглушительно хлопнула. Это мог быть только Кливер; не нашлось еще двери столь тяжелой или хитроумно запирающейся, чтоб он не сумел хлопнуть ею с грохотом, предвещающим Судный день. И ни на одной планете во всей Вселенной не было атмосферы столь плотной и влажной, чтобы грохот этот приглушить — даже на Литии.

Отец Рамон Руис-Санчес, уроженец Перу, строго блюдуший четыре полагающихся иезуитскому монашеству обета, продолжал чтение. Сколько еще пройдет, пока нетерпеливые пальцы Пола Кливера управятся со всеми застежками лесного комбинезона... а проблема-то тем временем остается. Проблеме уже больше века от роду — впервые сформулирована в 1939 году, но церкви до сих пор как-то не по зубам. И дьявольски сложна (нарекание из официального лексикона, подобранное буквалистски точно и понимания требующее буквального). Даже роман, в котором она выдвигается, внесен в «индекс

экспургаториус»\* и доступен духовным изысканиям Руис-Санчеса только благодаря принадлежности к ордену.

Он перелистнул страницу, краем уха слыша топот и бормотание в тамбуре. Текст тянулся и тянулся, становясь чем дальше, тем запутаннее, зловещее, неразрешимее.

*«...Магравий угрожает Аните домогательствами Суллы — дикаря-ортодокса (и главаря дюжины наемников, сулливани), желающего свести Фелицию с Григорием, Лео Вителлием и Макдугаллием, четырьмя землекопами, — если Анита не уступит ему, Магравию, и не усыпит в то же время подозрений Онуфрия тем, что станет исполнять с ним супружеский долг, когда последний того пожелает. Анита, заявляющая, будто обнаружила кровосмесительные посягательства Евгения с Иеремией...»*

Тут он опять потерял нить. Евгений с Иеремией... А, да — в самом начале они упоминались как «филадельфийцы», адепты братской любви (и тут очередное преступление кроется, двух мнений быть не может), состоявшие в близком родстве и с Фелицией, и с Онуфрием; последний — муж Аниты и, очевидно, главный местный злодей. К Онуфрию же, кажется, воцарился Магравий, подстрекаемый домогаться Аниты рабом Маурицием — похоже, с потакания самого Онуф-

---

\* Index Expurgatorius (лат.) — «очистительный список» (список литературы, запрещенной католической церковью).

рия. Правда, Анита прослышала об этом от своей камеристки, Фортиссы, что сожительствовала (по крайней мере, когда-то) с Маурицием и имела от него детей — так что подходить к изложенной истории следовало с особой осторожностью. Да и вообще, признание Онуфрия, с которого все началось, было исторгнуто под пыткой — которой он, правда, согласился подвергнуться добровольно; но все же под пыткой. Что до связи Фортисса — Мауриций, та представлялась еще гипотетичней; собственно, это не более чем предположение комментатора, отца Уэйра...

— Рамон, помоги, пожалуйста, — позвал вдруг Кливер. — Мне тут не распутаться и... нехорошо.

Биолог-иезуит отложил роман и, встревоженный, встал: от Кливера подобных признаний слышать еще не доводилось.

Физик сидел на плетеном тростниковом пуфе, набитом мхом наподобие земного сфагнума, и пуф трещал под его весом. Из комбинезона Кливер выбрался только наполовину, а бледное лицо сплошь покрывали бисеринки пота, хотя шлем уже валялся в стороне. Короткие мясистые пальцы неуверенно теребили молнию, застрявшую между слоями стекловолокна.

— Пол! Ну что ж ты сразу не сказал, что заболел? Отпусти молнию, так еще больше клинит. В чем дело?

— Сам не знаю, — тяжело выдохнул Кливер, но молнию выпустил. Руис-Санчес присел рядом на корточки и принялся вправлять бегунок на ме-

сто, зубчик за зубчиком. — Забрел в самую гущу джунглей, искал там новые выходы пегматита. Была у меня одна давняя мысль насчет лощмантравы... ну, которая растет там, где много трития... в промышленных масштабах.

— Не дай-то бог, — пробормотал под нос Руис-Санчес.

— Чего? В любом случае все без толку... ящерицы одни, попрыгунчики там, всякая обычная нечисть. А потом напоролся... на ананас, что ли... и один шип проткнул комбинезон... и оцарапал. Я было подумал, ничего серьезного, но...

— Зря, что ли, мы паримся в этой стеклодряни? Ну-ка, посмотрим, что там у тебя такое. Давай, подними ноги, снимем сапоги... Ого, где это тебя так?... Да, смотрится, надо сказать, впечатляюще. На что еще жалуемся?

— Саднит во рту.

— Открой, — скомандовал иезуит.

Когда Кливер подчинился, стало ясно, что жалобу его смело можно считать преуменьшением года: всю слизистую обсыпали пренеприятные на вид и наверняка весьма болезненные язвочки с четко очерченными — будто крошечными формочками для печенья — краями.

От комментариев биолог воздержался и постарался придать лицу выражение, вербально формулируемое словами вроде: «Можете идти». Если физику непременно нужно преуменьшать серьезность недомогания, Руис-Санчес ничего не имеет против. Не стоит на чужой плане-

те лишать человека привычных защитных механизмов.

— Пошли в лабораторию, — сказал Руис-Санчес. — У тебя там какое-то воспаление.

Кливер поднялся и, не слишком твердо ступая, проследовал за иезуитом. В лаборатории Руис-Санчес снял с нескольких язвочек мазки, растер по предметным стеклам и погрузил в краситель. Пока шло окрашивание по Грамму, он убивал время, отправляя старый ритуал: фокусировал зеркальце микроскопа на блестящем белом облаке за окном. Когда прозвенел таймер, Руис-Санчес взял первое стекло, промыл, прокалил, высушил и вставил в держатель.

Как он и опасался, бацилл и спирохет, характерных для обычной язвенно-некротической ангины Венсана — на которую указывала вся клиническая картина и которая прошла бы за ночь после таблетки спектросигмина, — биолог увидел в окуляр всего ничего. Микрофлора рта у Кливера была в порядке, разве что несколько активизировалась из-за воспаления.

— Сделаю-ка я тебе укол, — мягко произнес Руис-Санчес — А потом давай-ка сразу на боковую.

— Вот уж дудки, — отозвался Кливер. — У меня и так дел, наверно, раз в десять больше, чем можно разгрести, и то если ни на что не отвлекаться.

— Болезнь всегда не вовремя, — согласился Руис-Санчес. — Но если с работой и так завал, один-два дня погоды не сделают.

— А что у меня? — спросил с подозрением Кливер.

— Ничего, — едва ли не с сожалением отозвался Руис-Санчес. — В смысле, ничего инфекционного. Но «ананас» крепко тебе удружил. На Литии почти у всех растений этого семейства листья или шипы покрыты ядовитыми для нас полисахаридами. Гликозид, который сегодня тебя подкосил, судя по всему, ближайший родственник того, который встречается в нашем морском луке. Короче, по симптомам, оно у тебя сильно напоминает язвенно-некротическую ангину, только протекает гораздо тяжелее.

— И надолго это? — поинтересовался Кливер. По привычке он артачился, но явно уже намеревался пойти на попятную.

— На несколько дней — пока не выработается иммунитет. От гликозидного отравления я тебе вколю специальный гамма-глобулин; на какое-то время полегчает, а там и свои антитела вырабатываться начнут. Но пока суд да дело, Пол, лихорадить будет сильно; и мне придется держать тебя на антипиретиках — в здешнем климате лихорадка смертельно опасна... в буквальном смысле.

— Знаю, знаю, — проговорил Кливер уже спокойно. — И вообще, чем больше узнаю об этой планете, тем менее склонен голосовать за, когда дело дойдет до голосования. Ну, где там твой укол — и аспирин? Наверно, мне надо бы радоваться, что это не бактериальная инфекция, а то

змеи тут же напичкали бы меня своими антибиотиками под завязку.

— Вряд ли, — отозвался Руис-Санчес. — Не сомневаюсь, у литиан найдется более чем достаточно лекарств, которые нам в конечном итоге сгодятся, но разве что в конечном итоге; а пока можешь расслабиться — их фармакологию нам еще предстоит изучать с азов. Ладно, Пол, шагом марш в гамак. Минут через десять ты пожалеешь, что не умер прямо на месте, это я тебе обещаю.

Кливер криво усмехнулся. Покрытое бисеринками пота лицо под грязно-светлой шапкой густых волос даже сейчас казалось высеченным из камня. Он поднялся и сам, демонстративно, закатал рукав.

— А уж как проголосуешь ты, можно не сомневаться, — заметил он. — Тебе ведь нравится эта планета, да? Настоящий рай для биолога, как я погляжу.

— Нравится, — подтвердил священник, улыбаясь в ответ.

Кливер направился в комнатушку, служившую общей спальней, и Руис-Санчес последовал за ним. Если не считать окна, комнатка сильно смахивала на внутренность кувшина. Плавные изогнутые, без единого стыка стены были из какого-то керамического материала, который никогда не запотевал и не казался на ощупь влажным; но и совсем сухим, впрочем, тоже. Гамаки подвешивались к крюкам, враста-

ющим прямо в стены, словно весь домик, с крюками вместе, был целиком вылеплен и обожжен из единого куска глины.

— Тут явно не хватает доктора Мейд, — произнес Руис-Санчес. — Она была бы в полном восторге.

— Терпеть не могу, когда женщины лезут в науку, — невпопад отозвался Кливер со внезапным раздражением. — Никогда не поймешь, где у них кончаются гипотезы и начинаются эмоции. Да и вообще, что это за фамилия — Мейд?

— Японская, — ответил Руис-Санчес. — А зовут ее Лью. Семья следует западной традиции и ставит фамилию после имени.

— А... — Так же внезапно Кливер потерял к вопросу всякий интерес. — Собственно, мы говорили о Литии.

— Ну, не забывай, до Литии я вообще никуда не летал, — проговорил Руис-Санчес. — Подозреваю, я был бы в восторге от любой обитаемой планеты. Бесконечная изменчивость форм жизни, вездесущая изощренность... Удивительно... Полный восторг.

— И чем тебе мало... изменчивости с изощренностью? — поинтересовался Кливер. — Зачем еще Бога примешивать? Смысла, по-моему, никакого.

— Наоборот, только это и придает смысл всему прочему. Вера и наука отнюдь не исключают друг друга — совсем наоборот. Но если во главу угла поставить научный подход, а веру исключить



вовсе, если встречать в штыки все, что строго недоказуемо, то не останется ничего, кроме череды пустых телодвижений. Для меня заниматься биологией — это... все равно что совершать религиозный обряд, ибо я знаю, что все сущее сотворено Богом и каждая новая планета, со всем, что на ней, — это очередное подтверждение Его всемогущества.

— Человек убежденный, одно слово, — проворчал Кливер. — Как и я, впрочем. К вящей славе человека, вот как я сказал бы.

Он грузно растянулся в гамаке. Выдержав для приличия паузу, Руис-Санчес взял на себя смелость уложить на сетку свесившуюся наружу — вероятно, по забывчивости, — ногу. Кливер ничего не заметил. Начиная действовать укол.

— Абсолютно согласен, — сказал Руис-Санчес. — Но это лишь полцитаты. Кончается же так: «...и к вящей славе Божией»\*.

— Только проповедей не надо, святой отец, — встрепенулся Кливер и добавил тоном ниже: — Прости, я не хотел... Но для физика это не планета, а сущий ад. Принеси все-таки аспирин. Меня знобит.

— Конечно.

Руис-Санчес поспешно вернулся в лабораторию, смешал в изумительной литианской ступ-

---

\* *Ad maiorem dei gloriam* (лат.) — к вящей славе Божией (девиз ордена иезуитов). Наиболее распространенная парафраза — *ad maiorem hominis gloriam* (к вящей славе человеческой).

ке салицилово-барбитуратную пасту и сформовал таблетки. (В здешней влажной атмосфере хранить таблетки невозможно; слишком они гигроскопичны.) Жалко, не поставить на каждую клейма «Байер» (если панацеей для Кливера является аспирин, пусть лучше думает, будто его и принимает) — где же тут возьмешь трафарет? Священник отправился в спальню, неся на подносе две таблетки, кружку и графин воды, очищенной фильтром Бекерфельда.

Кливер уже спал — Руис-Санчесу с трудом удалось его растолкать. Неудобно, конечно, однако что поделаешь; зато проснется на несколько часов позже — и ближе к выздоровлению. Как бы то ни было, Кливер едва ли осознал, что глотает таблетки, и вскоре опять задышал тяжело и неровно.

Руис-Санчес вернулся в тамбур и принялся исследовать лесной комбинезон. Найти прореху от давешнего шипа оказалось несложно, залатать ее вообще будет раз плюнуть. По крайней мере, гораздо легче, чем убедить Кливера, что от выработанного на Земле иммунитета здесь проку ни малейшего, а посему не стоит почем зря напарываться на всякие там шипы. «Интересно, — думал Руис-Санчес, — как там наши коллеги-комиссионеры? Их тоже еще надо убеждать?»

Растение, что так его подкосило, Кливер называл ананасом. Любой биолог мог бы сказать Кливеру, что даже земной ананас — штука небезопасная и съедобная только в силу непонятого,

но крайне удачного каприза природы. А на Гавайях, насколько помнилось Руис-Санчесу, тропический лес непроходим без плотных штанов и тяжелых сапог. Даже на «доуловских» плантациях\* густые заросли неукротимых ананасов могут в кровь изодрать незащищенные ноги.

Иезуит перевернул комбинезон. Заклинившая молния была из пластика, в молекулу которого вводились свободные радикалы всевозможных земных противогрибковых соединений, в основном тиолутина. К препарату этому литианские грибки относились с должным почтением, но сама молекула пластика при местной влажности и жаре нередко спонтанно полимеризовалась, что и произошло на сей раз: один из зубцов напоминал теперь зернышко воздушной кукурузы.

Пока Руис-Санчес трудился над молнией, успело стемнеть. Раздалось приглушенное фырканье, и во всех углах вспыхнули теплые желтые огоньки. Горел природный газ, запасы которого на Литии были поистине неистощимы. Специально зажигать горелки не требовалось: начав поступать, газ адсорбировался катализатором, и вспыхивало пламя. Если требовался свет поярче, в пламя вдвигалась известковая калильная сетка на поставце из огнеупорного стекла; однако священник больше любил тускловатое-желтое освещение, которое предпочитали сами литиа-

---

\* «Доул» — крупная фирма-экспортер тропических фруктов.

не, и ярким светом пользовался только в лаборатории.

Разумеется, совсем без электричества земляне обходиться не могли и вынуждены были время от времени задействовать свои генераторы. Об электродинамике литиане знали сравнительно мало — зато их электростатика значительно опережала земную. Природных магнитов на планете не было, и магнетизм литиане открыли буквально за несколько лет до прилета комиссии. Явление наблюдали не в железе (его на планете практически не встречалось), а в жидком кислороде, из которого не так-то легко изготовить сердечник генератора.

По земным меркам, достижения литианской цивилизации выглядели откровенно странно. Двенадцатифутовые разумные рептилии соорудили несколько больших электростатических генераторов и превеликое множество маломощных, но не имели ничего даже отдаленно напоминающего телефон. Практические познания их об электролизе превосходили земные, но передача тока, например, на милю считалась выдающимся техническим достижением. Электромоторов в земном понимании у них не было, зато вовсю летали межконтинентальные реактивные транспорты, движимые статическим (!) электричеством. Кливер говорил, будто бы понимает, в чем дело; Руис-Санчесу же не было понятно ничего (а когда Кливер начинал распространяться про электрон-ионную плазму и

разогрев индукцией на радиочастотах — и того меньше).

Литиане развернули совершенно изумительную радиосеть, узлы которой, в числе прочего, служили навигационными маяками, отслеживая всю динамику в реальном времени и привязываясь (вот живое воплощение парадоксального литианского гения!) к дереву. При всем том с электронно-лучевыми трубками до сих пор разве что в лабораториях возились, а теория атомизма была не сложнее демокритовской.

Частично парадоксы эти можно было, разумеется, объяснить тем, чего на Литии не хватало. Подобно любой крупной вращающейся массе, Лития обладала магнитным полем — но как тут откроешь магнетизм, если на планете фактически нет железа. С явлением радиоактивности литиане не сталкивались — по крайней мере, до прибытия землян, — что объясняло смутную атомную теорию. Подобно древним грекам, литиане обнаружили, что трение шелка о стекло порождает один вид энергии или заряда, а шелка об янтарь — другой; от этого они пришли к генераторам ван де Граафа, электрохимии и реактивным самолетам на статическом электричестве — но, в отсутствие подходящих металлов, до мощных аккумуляторов дело не дошло, а электродинамика как наука только-только зарождалась.

Но в тех областях, где стартовые условия оказались благоприятней, литиане добились впечатляющих успехов. Несмотря на плотную облач-

ность и постоянно висящую в воздухе мелкую морось, наблюдательная астрономия была развита превосходно — за что благодарить следовало местную луну, рано обратившую внимание литиан вовне. Это, в свою очередь, объясняло хороший задел в оптике — и сногшибательные, иначе не скажешь, успехи в обработке стекла. Химия их взяла все, что могла, как из морей, так и из джунглей. Океан давал агар-агар, йод, соль, рассеянные в воде металлы — не говоря уж о пищевых продуктах. А джунгли обеспечивали почти всем остальным: резиной, древесиной любой твердости, пищевыми и эфирными маслами, натуральными волокнами, фруктами и орехами, танином, красками, лекарствами, пробкой, бумагой. Почему-то — и никак было не взять в толк, почему — охота не практиковалась. У иезуита сложилось впечатление, будто дело в некоем религиозном запрете, однако религии у литиан не было и в помине; да и многих морских животных они ели без малейших угрызений совести.

Он со вздохом уронил комбинезон на колени, хотя деформированный зубец еще требовал долгой шлифовки. Снаружи, в обволакивающей дом влажной темноте, Лития давала концерт по полной программе. Монотонное гудение, перекрывавшее почти весь доступный человеческому уху диапазон частот, звучало как-то поновому. Гудели неисчислимые скопища насекомых: вдобавок к привычным шуршанию,

стрекоту и жужжанию, многие издавали пронзительные, едва ли не птичьи трели. В некотором смысле это было удачно, поскольку птиц на Литии не водилось.

«Не так ли, — думал Руис-Санчес, — звучал Эдем до того, как в мир пришло зло?» По крайней мере, слышать такие песни в родном Перу ему не доводилось.

Угрызания совести — вот с чем, собственно, ему следует разбираться, а не с лабиринтами таксономии\*, которые непроходимо перепутались еще на Земле, задолго до эры космических полетов, до того, как каждая новая планета стала добавлять к лабиринту по витку, а каждая звезда — по новому измерению. То, что литиане двуноги, происходят от рептилий, отдаленно родственны сумчатым и имеют систему кровообращения, как у земных пернатых, — все это не более чем интересно из общих соображений. А вот то, что их могут мучить угрызания совести — если, конечно, могут, — вот это жизненно важно.

Взгляд его упал на настенный календарь — иллюстрированный, извлеченный Кливером из багажа еще по прибытии; девица на картинке смотрелась непредвиденно скромно — из-за больших блестящих пятен оранжевой плесени.

---

\* Таксономия — теория классификации и систематизации сложноорганизованных областей действительности, имеющих обычно иерархическое строение (органический мир, объекты географии, геологии, языкознания, этнографии и т. д.).

Сегодня было 19 апреля 2049 года. Почти Пасха; самое наглядное напоминание, что для внутренней жизни тело — лишь покров. Тем не менее лично для Руис-Санчеса год значил ничуть не меньше, чем дата, поскольку следующий, 2050-й, будет Святым годом.

Церковь вернулась к древнему обычаю, впервые официально признанному Бонифацием VIII в 1300 году, — объявлять великое всепрощение только раз в полвека. Если Руис-Санчеса в следующем году не будет в Риме, когда отворится святая дверь, — больше на его веку такого не повторится.

«Торопись! Торопись!» — нашептывал некий внутренний демон. Или то был голос совести? Что, если грехи его уже настолько обременительны (а сам он об этом и не подозревает), что паломничество необходимо, причем жизненно. Или это он, в свою очередь, поддался греху гордыни?

Как бы то ни было, работа должна идти своим чередом. Их четверых послали на Литию — определить, годится ли планета для установки пересадочной станции и не сопряжено ли строительство с риском для литиан или землян. Как и Руис-Санчес, остальные трое членов планетографической комиссии были в первую очередь учеными; но он-то знал, что его рекомендация будет в конечном итоге опираться на совесть, а не на таксономию.



А совесть, как и сотворение мира, негоже торопить. Ее даже не подчинишь расписанию.

Озабоченно скривившись, он буравил невидящим взглядом недочиненный комбинезон, пока из спальни не донесся стон Кливера. Тогда Руис-Санчес поднялся и вышел, оставив тамбур негромкому шипению газовых огней.

## II

Сквозь овальное окно дома, отведенного Кливеру и Руис-Санчесу, открывался вид на коварно пологий склон, уходящий к едва различимой южной оконечности Нижней бухты, что составляла часть Сфатского залива. Весь берег представлял собой соленую топь — как и почти любое литианское побережье. В прилив море растекалось на добрую половину прилегающей равнины, затопляя даже самые возвышенные места, по меньшей мере на ярд. В отлив — как, например, сейчас — на симфонию джунглей накладывался отчаянный лай земноводных рыб, зачастую доброго десятка сразу. Когда облака не застилали маленького диска луны и город предстал в необычно ярком освещении, можно было углядеть растянувшийся в прыжке силуэт какой-нибудь амфибии или сигмой змеящийся в иле след литианского крокодила, что преследовал добычу чересчур резвую, но которую все равно когда-нибудь обязательно нагонит — за ничтожно малое, по геологическим меркам, время.

Еще дальше — обычно невидимый даже днем из-за вечного тумана — лежал противоположный берег Нижней бухты, такой же равнинный и полузатопленный, плавно переходящий в джунгли, что тянулись уже без перерыва на сотни миль к северу, до самого экваториального моря.

А из окон спальни открывался вид на город, Коредещ-Сфат, столицу гигантского южного континента. Как и у всех литианских городов, самой примечательной его характеристикой, с точки зрения землянина, была полная неприметность. Низкие домики, сформованные из набранной тут же глинистой почвы, сливались с землей, ничем не выдавая себя даже наметанному глазу опытного наблюдателя.

Большинство старых зданий были прямоугольными и без известкового раствора складывались из блоков прессованной земли. С течением десятилетий блоки утрамбовывались все плотнее и плотнее, и в конце концов, если здание становилось ненужным, оказывалось проще оставить его без толку стоять, чем сносить. Впервые земляне почувствовали себя на Литии несколько неуютно, когда Агронски пришла в голову злополучная мысль: вызваться снести одно из таких сооружений с помощью ТДХ, неизвестной литианам взрывчатки-гравиполяризатора, взрывная волна от которой, распространяясь в заданной плоскости, как масло резала даже стальные балки. Огромный толстостенный пакгауз, о котором шла речь, стоял вот уже три ли-

тианских века — 312 земных лет. Взрыв произвел чудовищный грохот и учинил массовый переполох; но, когда пыль рассеялась, пакгауз стоял, даже не покосившись.

Новые строения бросались в глаза при ярком солнце; дело в том, что примерно полвека назад литиане начали применять в строительстве свои широчайшие познания в керамике. Такие дома могли принимать совершенно произвольные квазибиологические формы — не то чтобы совсем аморфные, но и ни на что конкретное не похожие; больше всего они напоминали загадочные конструкции из вареных бобов, некогда грезившиеся земному художнику Сальвадору Дали. Будучи сооружен по вкусу владельца, ни один дом не напоминал соседних — но при этом ухитрялся отражать характер литианского общества в целом и той земли, от которой произошел. Впрочем, и новые дома ничем не выделялись бы на фоне джунглей, не будь они покрыты глазурью, которая ослепительно блестела в редкие солнечные дни и если смотреть под правильным углом. При первых наблюдениях с воздуха именно этот переменчивый блеск подсказал землянам, где в бесконечных литианских джунглях кроется разумная жизнь. А что разумная жизнь на Литии есть, никто и не сомневался: планета испускала мощнейшие радиоимпульсы, которые улавливались далеко в космосе.

Направляясь к гамаку Кливера, Руис-Санчес в десятитысячный по меньшей мере раз бросил

взгляд на город. Для священника Коредещ-Сфат был все равно что живое существо; ни разу столица не представилась ему одинаковой. Руис-Санчес находил город исключительно прекрасным. А также исключительно странным — уж насколько не похожи друг на друга земные города, но этот отличался от них от всех.

Он проверил у Кливера дыхание и пульс. Те оказались необычно учащенными — даже для Литии, где высокое парциальное давление атмосферного углекислого газа повышало у землян «пэ-аш» крови и стимулировало дыхательный рефлекс. Тем не менее священник решил, что опасности это не представляет — пока не увеличилось потребление кислорода. Пусть лучше Кливер спит, хоть и беспокойно; нечего тревожить зря.

Конечно, если вдруг в город забредет дикий аллозавр... Но это ничуть не более вероятно, чем если бы в самый центр Нью-Дели забрел дикий слон. Возможно, спору нет, возможно, — только почти никогда не случается. А других опасных животных — по крайней мере, способных вломиться в запертый дом, — на Литии просто нет. Даже крысам — точнее, весьма многочисленным яйценосным сумчатым, здешнему аналогу крыс — в керамический дом не проникнуть.

Руис-Санчес сменил воду в графине, поставленном в нишу подле изголовья кливеровского гамака, вернулся в тамбур и облачился в сапоги, плащ и непромокаемую шляпу. Стоило отворить

каменную дверь, и волной нахлынули звуки ночной Литии, а порыв морского ветра вместе с ключьями пены принес характерный галогенный запах, традиционно именуемый соленым. Моросил мелкий дождь, и каждый фонарь был окружен пляшущим ореолом. Вдалеке медленно скользил по воде огонек. Возможно, колесный рейсовый каботажник направлялся на Иллит — огромный остров посреди Верхней бухты на границе Сфатского залива и экваториального моря.

Выйдя наружу, Руис-Санчес повернул штурвальчик запора, и с трех сторон двери выдвинулось по засову. Достав из кармана плаща кусок мягкого местного мела, он вывел на специальной табличке под козырьком литианские символы, означающие «Здесь больной». Этого должно быть достаточно. Если кто захочет войти, дверь откроется простым поворотом колеса (о замках на Литии и слыхом не слыхивали), но литиане — также будучи животными прежде всего общественными\* — правила поведения соблюдали не менее неукоснительно, чем законы природы.

Заперев дом, Руис-Санчес направился в центр города, к Почтовому дереву. Асфальт влажно блестел, отражая желтые овалы окон и яркий белый свет далеко отстоящих уличных фонарей. Иногда в полумраке мелькал похожий на кенгуру-переростка двенадцатифутовый литианин, и тогда

---

\* «Человек по природе — животное общественное» (правильней — «политическое»; см. Аристотель, «Политика», кн. I, 1253).

они с Руис-Санчесом обменивались исполненными откровенного любопытства взглядами; но по большей части в это время улицы были пустынные. Вечерами литиане предпочитали сидеть дома — и Руис-Санчес не имел ни малейшего представления, чем они там занимаются. В овальных окнах, мимо которых шлепал в резиновых сапогах Руис-Санчес, то и дело мелькали силуэты — поодиночке, по двое, по трое. Иногда казалось, что за окнами идет оживленная беседа.

О чем бы это, интересно?

Прекрасный вопрос. На Литии не было ни преступности, ни газет, ни телефонной связи, ни искусств (которые можно было бы четко отделить от ремесел), ни массовых увеселений, ни наций, ни игр, ни религий, ни спорта, ни праздников. Не могут же литиане каждую минуту бодрствования обмениваться знаниями, вести беседы на философско-исторические темы, строить планы на завтрашний день!.. Или могут? Возможно, представилось вдруг Руис-Санчесу, они просто набиваются в эти свои дома-горшки, подобно маринованным огурцам, вялые и дряблые?.. Но не успела еще эта мысль внятно оформиться, как взгляд иезуита упал на очередное освещенное окно, силуэты за которым мельтешили весьма оживленно...

Порыв ветра швырнул в лицо холодные капли дождя. Руис-Санчес машинально ускорил шаг. Если ночь выдастся особенно ветреная, Почтовое дерево будет голосить напропалую. Вот

уже оно высится перед ним, похожий на секвойю исполин — близ устья реки Сфат, которая змеится, свивая громадные кольца, в глубь континента, где впадает в Глештьэк-Сфат, то есть в Кровавое озеро, угрюмо перекатывающее могучие валы.

Над речной долиной гудели ветры, и Дерево покачивалось им в такт, вибрировало едва-едва, но этого было достаточно. Стоило Дереву только шелохнуться, как корневая система его, пролегающая подо всем городом, возбуждала колебания в кристаллическом скальном основании, на котором Коредещ-Сфат покоился с незапамятных времен — примерно с тех же, что Рим на своих семи холмах. Кристаллические скальные породы отвечали на давление мощным импульсом радиоволн — принимаемых не только повсюду на Литии, но и далеко в космосе. На корабле Комиссии импульсы эти удалось засечь, когда альфа Овна, солнце Литии, было всего лишь яркой точкой впереди по курсу, — и четверо комиссионеров переглянулись, а в глазах у них затеплилась искорка понимания.

Вообще-то, импульсы представляли собой чистый шум. Как литиане ухитрились его модулировать — причем для передачи не только информационных сообщений, но и позывных своей удивительной навигационной сети, сигналов точного времени и многого другого, — для Руис-Санчеса был сплошной темный лес, все равно что аф-

финная теория\*»; хоть Кливер и говорил, что на самом-то деле все проще пареной репы, стоит только раз понять. Вроде бы (по словам того же Кливера) разгадка крылась где-то в физике полупроводников и твердого тела; тут земляне литианам и в подметки не годились.

Ряд свободных ассоциаций очередной раз прихотливо вильнул, и Руис-Санчесу, к немалому его удивлению, вспомнился теперешний «дуайен» земной аффинной теории, который подписывал свои труды «Х. О. Петард» (притом что настоящее имя его было Люсьен Дюбуа, граф Овернский). Впрочем, тут же осознал священник, ассоциация была не такой уж и вольной: граф олицетворял фактически полное отчуждение современной физики от повседневного, данного в ощущениях человеческого опыта. Графский титул — не более чем пустой звук в нынешние времена, а то и менее — передавался в семье Дюбуа как привычная приставка к фамилии, хотя политическая система, в рамках которой титул был некогда пожалован, давно отмерла, пала очередной жертвой передела Земли в рамках «катакомбной» экономики. Гордиться следовало бы скорее именем, чем титулом, ибо, углубись вдруг граф

---

\* Аффинный — от латинского *affinis*, т. е. соседний, смежный. Аффинная геометрия — раздел математики, изучающий величины и геометрические объекты, остающиеся неизменными при аффинных преобразованиях, т. е. преобразованиях плоскости или пространства, при которых прямые переходят в прямые и сохраняется их параллельность (в частности, преобразования подобия, параллельного переноса и вращения).



в генеалогические дебри, он мог бы отследить цепочку своих прославленных предков до XIII века включительно, когда в Англии вышло рукописное «Наставление Люсьена Уайчема в вопросах магии».

Наследие высокодуховней некуда — но Люсьен теперешний, католик-вероотступник, являл собой фигуру скорее политическую (притом что при катакомбной-то экономике политика как таковая, можно сказать, вымерла как вид): плюс ко всему прочему он носил звание Канарского прокурора — звание, бессмысленность которого, если вдуматься, тут же становилась очевидной, но зато позволявшее уклоняться от еженедельных общественных работ. На деленой-переделеной, изрытой вдоль и поперек Земле подобные таблички встречались сплошь и рядом — как правило, в непосредственной близости от крупных состояний, лежавших нынче мертвым грузом, раз биржевые спекуляции отошли в прошлое, и единственное, чем отдельно взятый простой смертный мог хоть как-то повлиять на собственное благосостояние, это вложиться в инвестиционный фонд. Былым сливкам общества оставалась единственная отдушина — безудержное потребление; причем безудержное настолько, что случись поблизости сам старик Веблен\* — и тот усомнился бы

---

\* Веблен, Торстейн (30.07.1857–03.08.1929) — американский экономист, знаменитый в первую очередь трудом «Теория праздного класса» (1899), в котором применил к современной экономике эволюционную теорию Дарвина. Именно в этой работе он ввел, например, такой термин, как «потребление напоказ», до сих пор активно использующийся.

в правильности своих представлений о потреблении. Попытайся они хоть как-то влиять на экономику, их тут же подвергли бы жесточайшему остракизму — если и не сами господа вкладчики, то уж суровые блюстители подземных городов (где и блюсти-то, собственно, было уже почти нечего) всенепременнейше.

Не то чтобы граф тунеядствовал. Последнее, что о нем было слышно, — он собирался неким совсем уж эзотерическим образом дорабатывать уравнения Хэртля (то самое описание пространственно-временного континуума, которое, поглотив преобразования Лоренца — Фитцджеральда точно так же, как некогда теория Эйнштейна поглотила Ньютонову, сделало возможным межзвездные перелеты). Изо всего этого Руис-Санчес не понимал ни единого слова; но, с усмешкой отметил он, наверно, это действительно проще пареной репы — стоит только раз понять.

В конце концов, в ту же категорию попадало практически все человеческое знание. Одно из двух: или все проще пареной репы, стоит только раз понять, или это чистой воды вымысел. Даже тут, в пятидесяти световых годах от Рима, Руис-Санчес, как иезуит, знал о человеческом знании нечто такое, что Люсьен Дюбуа, граф Овернский, давно забыл, а Кливер так никогда и не узнает: любое знание проходит в своем развитии через обе стадии — возвещает о своем явлении из хаоса и вновь возвращается в хаос.

В процессе — установление тончайших различий, и чем дальше, тем тоньше.

В результате — бесконечная череда катастроф теории.

В остатке — вера.

Когда Руис-Санчес ступил под теряющиеся в вышине своды полости, выжженной в основании Почтового дерева, весь зал, смахивающий на поставленное тупым концом книзу гигантское яйцо, кишмя кишел литианами. Впрочем, сходства с земным телеграфным или телефонным узлом не было ни малейшего.

По всему периметру основания «яйца» неустанно сновали высокие фигуры литиан: заскакивали внутрь, выскальзывали наружу сквозь неисчислимые отверстия-двери, менялись местами, кружили, как переходящие с орбиты на орбиту электроны. Но переговаривались они так тихо, что на фоне множества голосов слышался шум ветра в исполинских ветвях высоко над головой.

Мельтешение фигур ограничивалось, как волнорезом, высоким черным полированным ограждением, явно вырезанным из флоремы\* самого Дерева. За барьером (откровенно символическим — и почему-то напомнившим священнику щель Энке в кольцах Сатурна) выстроились в довольно редкий круг несколько литиан и мерно, не сбиваясь ни на секунду, принимали и передавали сообщения; с работой они справлялись

---

\* Флорема (от греческого *phloios* — кора, лыко) — попросту луб, сложная ткань высших растений, служащая для проведения органических веществ к различным органам, а также выполняющая некоторые другие функции.

безупречно — судя по тому, как безостановочно мельтешили фигуры с внешней стороны барьера, — и без видимого усилия, полагаясь только на память. Иногда кто-нибудь из их числа оставлял рабочее место и отпраплялся о чем-то переговорить к одному из множества столиков, расставленных по ту сторону барьера концентрическими кругами, причем чем ближе к плавно понижающемуся центру, тем разреженней, будто бы на вывернутом наизнанку колесе смеха, — а потом возвращался к черному барьеру или же садился за стол, а на пост вместо него заступал предыдущий хозяин стола. Пол понижался, столов становилось меньше и меньше, а в самом центре зала стоял один-единственный пожилой литианин — зажав ладонями ушные раковины, что находились сразу за тяжелыми челюстными суставами, опустив на глаза мигательные перепонки, являя миру только носовые впадины и ямки инфракрасных рецепторов над ними. Он молчал, и с ним никто не заговаривал, но все бурление водоворота за черным барьером являлось очевидным следствием этой абсолютной статичности.

Руис-Санчес замер, пораженный до глубины души. Видеть Почтовое дерево внутри ему не доводилось еще ни разу в жизни — до сегодняшнего дня связью с Микелисом и Агронски, коллегами-комиссионерами, заведовал Кливер, — и теперь священник понятия не имел, что ему делать. То, что он видел, походило скорее уж на парижскую биржу, чем на центр связи в привычном

понимании слова. Казалось невероятным, чтобы каждый раз, когда поднимается ветер, у стольких литиан срочно возникала надобность отправить какое-нибудь личное сообщение; столь же немислимым представлялось, чтоб у литиан, с их стабильной экономикой всеобщего благосостояния, мог существовать сколь угодно отдаленный аналог фондовой биржи. Как бы то ни было, а выбора, похоже, не оставалось — нырять теперь в это мельтешение, пробирайся к черному полированному барьеру и проси кого-нибудь из литиан с той стороны попробовать еще раз связаться с Агронски или Микелисом. В худшем случае, подозревал Руис-Санчес, ему просто откажут или не станут даже слушать. Он сделал глубокий вдох. В тот же миг левую руку его, от локтя до плеча, цепко облапила широкая четырехпалая ладонь. С совершенно неприличным фырканьем исторгнув из легких набранный было воздух, священник крутанулся волчком и снизу вверх изумленно уставился в участливо склонившееся лицо литианина. Под внахлест сведенными, словно капканные скобы, челюстями выделялась совершенно индюшачья, но нежно-аквамаринового цвета бородка, которая резко контрастировала с серебристо-сапфировым рудиментарным гребнем, пронизанным розоватыми, как тычинки фуксии, венами.

— Руис-Санчес вы, — на своем языке проговорил литианин. (Из четверых землян, только имя священника литиане умудрялись произ-

носить, не коверкая.) — Узнаю вас по вашей накидке я.

Это была чистой воды случайность. Любого землянина, вышедшего под дождь в плаще, приняли бы за Руис-Санчеса, потому что, по мнению литиан, один Руис-Санчес всегда облачался примерно одинаково, что дома, что на улице.

— Да, это я, — отозвался Руис-Санчес, на всякий случай внутренне подобравшись.

— Штекса я, металлург; консультировали меня по химии вы, по медицине, о цели вашей миссии и еще по нескольким вопросам, незначительным.

— А... Конечно, конечно. То-то мне показался знакомым ваш гребень.

— Большая честь для меня. Раньше вас здесь не видели мы. Желаете поговорить с Деревом?

— Да, — благодарно отозвался Руис-Санчес. — Действительно, прежде мне тут бывать не приходилось. Вы не могли бы объяснить, что делать?

— Мог бы, но не поможет это, — произнес Штекса, склонив голову так, что совершенно чернильные зрачки его смотрели теперь прямо в глаза Руис-Санчесу. — Ритуал соблюдать потребно некий, очень сложный, пока в привычку не войдет. Обучаемся этому с детства мы; полагаю я, не хватит координации вам, чтобы с первой попытки вышло. Если позволите, передать сообщение за вас мог бы я...

— Буду премного обязан. Я должен связаться с нашими коллегами, Агронски и Микелисом;

они в Коредещ-Гтоне, на северо-востоке, градуса тридцать два на восток и тридцать два на север...

— Да, у озер Малых отметка реперная вторая; город горшечников это, хорошо его знаю я. И что хотели бы передать вы?

— Чтоб они вылетали к нам, в Коредещ-Сфат; наше время на Литии подходит к концу.

— И меня касается это, — заявил Штекса. — Но передам я.

Литианин метнулся в водоворот фигур, и его тут же бесследно засосало; а Руис-Санчес остался стоять, в очередной раз благодаря Всевышнего, что Тот надоумил раба Своего неразумного учить безумно сложный литианский. Двое из четверых комиссионеров выказывали поистине прискорбное пренебрежение этим всепланетным языком; кливеровское: «Пускай учат английский» — успело стать классикой. Отнестись к подобному высказыванию сочувственно Руис-Санчес ну никак не мог — с учетом того, что его родным был испанский, а из пяти языков, которыми он владел свободно, больше всего нравился ему западный «хохдойч».

Агронски избрал позицию несколько более утонченную. Не в том дело, говорил он, что в литианском какое-то особенно сложное произношение (утруждать нёбо приходится явно не сильнее, чем в арабском или русском), просто, по большому счету, «невозможно толком разобраться, что составляет сущностную, неформа-

лизуемую основу столь чужого языка, так ведь? По крайней мере, за то время, что мы здесь?»

Микелис предпочитал отмалчиваться; он просто поставил себе задачу научиться читать по-литийски, и если таким образом он выучится заодно и говорить, ничего удивительного в том не будет ни для него самого, ни для коллег. Ко всему на свете Микелис подходил примерно так же, основательно и без излишнего теоретизирования. Что до подхода, практиковавшегося Кливером или Агронски, то в глубине души Руис-Санчес полагал, что включать в состав комиссии людей со взглядами столь ограниченными едва ли не преступно. Чтобы понять незнакомую культуру, язык абсолютно необходим; если начинать не с языка, то, интересно, с чего же?

Что же до склонности Кливера именовать литий змеями, то мыслями по этому поводу Руис-Санчес мог бы поделиться в лучшем случае со своим далеким духовником.

А ввиду того, что открылось его взору в яйцевидном зале, — что теперь прикажешь думать о том, как выполнял Кливер свои обязанности связиста? Разумеется, он не мог ничего через Дерево ни принять, ни передать, что бы там по ходу дела ни говорил. Весьма вероятно, он и к Дереву-то ни разу не подходил ближе, чем Руис-Санчес сегодня. Нет, само собой разумеется, как-то Кливер должен был с Микелисом и Агронски связываться — запрятал там в багаже где-нибудь передат-



чик и... Да нет, какой еще передатчик. Руис-Санчес, конечно, не физик; но и ежу понятно, что для потенциальных радиолюбителей Лития сущий ад — раз эфир на всех частотах забит чудовищной мощности импульсами, исторгаемыми Деревом из кристаллического утеса. Нет, Руис-Санчес определенно начинал чувствовать себя как-то неуютно.

Из снующих вокруг фигур выделился Штекса — не гребнем своим, который успел стать таким же величественно-пурпурным, что и у большинства присутствующих, а тем, как целеустремленно двигался прямо к землянину.

— Сообщение ваше отослал я, — сразу произнес он. — В Коредеш-Гтоне зафиксировано оно. Но других землян нет там. Несколько дней уже в городе не было их.

Невозможно! Если верить Кливеру, он говорил с Микелисом не далее чем вчера.

— Вы уверены? — осторожно поинтересовался Руис-Санчес.

— Вне всяких сомнений. Пуст стоит дом, предоставленный им. Исчезли многочисленные вещи их. — Высокая фигура развела четырехпалыми руками — вероятно, изображая сочувствие. — Дурное это, кажется, известие. Неприятно мне принести его вам. Исполнены добра были известия, что при первой встрече принесли мне вы.

— Спасибо большое. Не стоит беспокоиться, — рассеянно проговорил Руис-Санчес. —

Нельзя же спрашивать с вестника за принесенное им послание.

— Все же, кое за что отвечает вес пик; по крайней мере, таков обычай наш, — отозвался Штекса. — Взаимосвязаны поступки все. В результате обмена нашего в проигрыше вы, насколько понимаю я. Проверено уже, что великого добра исполнены были о железе вести ваши. Удовольствие доставило бы мне продемонстрировать, как применили мы знание это, особенно ввиду вестей дурных, что принес вам ответно я. Не соблаговолите ли, коли не воспрепятствует то работе вашей, посетить жилище мое, дабы вопрос сей подробнее освещен был? Возможно ли это?

Руис-Санчес сурово подавил всколыхнувшееся было возбуждение. Наконец-то впервые появился шанс хоть что-то разузнать о личной жизни литиан — и через это, возможно, даже получить некоторое представление об их морали; о роли, что уготована им Господом в вечной драме борьбы добра со злом. А пока представления такого не получено, откуда Руис-Санчесу знать — вдруг литиане только притворяются добродетельными в этом своем Эдеме; чистый интеллект, мыслящие машины из органики, УЛЬТИМАК и хвостатые — и бездушные притом.

Но дома у него оставался больной человек. Вряд ли, конечно, Кливер до утра проснется. Успокоительного ему закачено из расчета чуть ли не по 15 миллиграммов на килограмм веса.

Правда, больные — все равно что дети малые, и закон им не писан, причем с упорством, достойным лучшего применения. Если могучий организм Кливера как-то переборет эту дозу — или если случится анафилактический шок, что вполне вероятно на ранних стадиях заболевания, — тогда надо быть с физиком рядом. По крайней мере, звук человеческого голоса Кливеру будет необходим — на планете, которую тот терпеть не мог и которая (мимоходом, едва ли заметив, что там вообще кто-то был) свалила его с ног.

Впрочем, никакой серьезной опасности Кливеру все равно не грозит. А уж в сиделке он точно не нуждается — как сам при случае не преминул бы заметить.

Кроме того, существовала еще такая вещь, как чрезмерное рвение; каковое — что Церковь издавна (и по большей части с превеликим трудом) втолковывала чересчур благочестивым — есть форма гордыни. В худшем случае рвение это приводило к появлению госпитальных святых — чье пристрастие ко всему болезненному странным образом напоминало поклонение паразитам у некоторых индуистских сект — или столпников наподобие Святого Симеона, отвергать которых Господь, конечно, не отвергал, но популярности образа церкви в массах они ну никак не способствовали. Да и заслуживал ли Кливер, чтобы за ним ухаживали с подобным рвением как за Божьей тварью — точнее, как за тварью богобоязненной?

И притом что на карту поставлена судьба целой планеты, целого народа — нет, бери выше, тут речь идет о величайшей теологической проблеме, о неминуемом разрешении безмерной трагической головоломки первородного греха... Преподнести такой подарок святому отцу в Юбилейный год — да это было бы грандиозней, торжественней, нежели даже объявление о восхождении на Эверест во время коронации Елизаветы II Английской!

Если, конечно, изучение Литии увенчается именно этим. А поводов опасаться, что стоит Руис-Санчесу взглянуть в окружающее чуть пристальней, и на свет Божий явится нечто иное, непередаваемо ужасное, было хоть отбавляй. Опасений этих не сумела пока разрешить даже молитва. Но следует ли жертвовать пусть даже только возможностью найти ответ — ради Кливера?

Нет, недаром Руис-Санчес посвятил столько лет размышлениям именно о проблемах морали, о делах совести; недаром наиболее одаренные из его коллег по ордену всю жизнь клали на то, чтоб искать (и находить) выход из самых запутанных этических лабиринтов. Католику вообще должно быть свойственно благочестие; а иезуиту — еще и проворство.

— Большое спасибо, — нетвердым голосом отозвался он. — С удовольствием приму ваше приглашение.

### III

Голос.

— Кливер? Кливер! Да проснись ты, медведь этакий. Кливер! Какого черта, куда вы запропастились?

Кливер застонал и попытался перевернуться. При первом же движении мир начал медленно, тошнотворно покачиваться. Крупным, раскаленным градом покатился лихорадочный пот. Рот, казалось, залит горячей смолой.

— Да вставай же, Кливер! Это я, Агронски! Где святой отец? Что тут у вас стряслось? Почему вы ни разу не вышли на связь? Эй, осторожно, ты сейчас...

Предупреждение запоздало, да и все равно слов Кливер не разбирал. Он был в глубоком беспмятстве и представления не имел, где — в пространстве и во времени — находится. Пытаясь обратиться подальше от надоедливой голоса, он конвульсивно дернулся и выпал из гамака. Вздывившись, пол с грохотом ударил его в левое плечо, но удара и распространившегося следом онемения Кливер не почувствовал. Ноги, по-прежнему ощущавшиеся как нечто чужеродное, зависли где-то далеко вверху, запутавшись в сетке.

— Какого черта...

Дробно простучали шаги, словно переспелые каштаны пробарабанили по крыше, а потом что-то глухо стукнулось об пол рядом с его головой.

— Кливер, тебе нехорошо? Полежи-ка минутку спокойно, я тебе ноги распутаю. Майк... Майк, ты не в курсе, как в этом кувшине включается газ? Чего-то тут не так...

Секундой позже с гладких стен пролился желтый газовый свет; чуть погодя зажегся ярко-белый. Подволакивая руку, Кливер прикрыл глаза и тут же утомился. Прямо над ним, пухлощекое и обеспокоенное, маячило наподобие привязного аэростата лицо Агронски. Микелиса видно не было, и слава богу. Откуда взялся один Агронски, уже не вдруг поймешь.

— Как... какого черта... — прохрипел Кливер, с трудом разлепив губы; в уголках рта резануло острой болью. Только сейчас он осознал, что во сне губы почему-то склеились. Он даже приблизительно не представлял, как долго провалился в отключке.

Похоже, Агронски догадался, о чем его хотели спросить.

— Мы прилетели прямо с озер, на вертолете, — произнес он. — Нам не нравилось, что вы всё молчите, и мы решили на всякий случай прибыть своим ходом, а не заказывать места на этой их трансконтиненталке, чтоб не пронюхали раньше времени, а то вдруг у них тут рыльце в пушку...

— Хватит приставать к нему, — объявил Микелис, возникая в дверях как чертик из табакерки. — Не видишь, что ли, он дрянь какую-то подхватил. Нехорошо, конечно, радоваться болезни, но слава богу, что литиане ни при чем.

Химик — долговязый, с длинным подбородком — помог Агронски поднять Кливера на ноги. Осторожно, преодолевая боль, Кливер снова раскрыл рот. Раздался лишь неразборчивый хрип.

— Пасть закрой, — посоветовал Микелис; впрочем, вполне добродушно. — Давай положим его обратно в гамак. Интересно, куда делся святой отец? Без него нам с этой болячкой не справиться.

— Наверняка мертв! — взорвался вдруг Агронски; на лбу его выступил пот, глаза встревоженно заблестели. — Иначе б он был здесь. Майк, это заразно!

— Боксерские перчатки я как-то забыл захватить, — сухо отозвался Микелис. — Кливер, лежи тихо, а то стукну. Агронски, ты, кажется, опрокинул бутылку с водой; сходи лучше и набери, явно не помешает. И посмотри, не оставил ли святой отец в лаборатории какого-нибудь лекарства.

Агронски вышел, и Микелис зачем-то тоже — по крайней мере, за пределы поля зрения Кливера. Все силы бросив на то, чтобы преодолеть боль, Кливер снова разлепил губы:

— Майк...

Микелис тут же вернулся и стал промокать физику губы и подбородок ваткой с каким-то раствором.

— Спокойно, Пол. Сейчас Агронски принесет тебе попить. Еще немного, и ты сможешь говорить. Не торопись только.